



G.R.S. Mead



Аполлоний Тианский — Дж. Р. С. Мид

Некоторые выдержки из книги

Аполлоний Тианский

Он сам и Его окружение

Говорят, что на АПОЛЛОНИЯ было очень приятно смотреть (i 7, 12; iv 1); [Раттебер (G) в своей книге "Гроссгрихенланд и Пифагор" (Гота, 1866), произведении замечательного библиографического мастерства, ссылается на три предполагаемых портрета Аполлония (стр. 621). (i) В музее Кампидольо в Ватикане, Индикационе скульптуры (Рима, 1840), стр. 68, № 75, 76, 77; (ii) в Королевском музее Бурбона, описанном Мишелем Б. (Неаполь, 1837), стр. 79, № 363; (iii) конторниате, воспроизведенный Висконти. Я не могу найти его первое упоминание, но в «Путеводителе по Королевскому музею Бурбонов», перевод К. Дж. Дж. (Неаполь, 1831), на странице 152 я нахожу, что под номером 363 находится тщательно выполненный бюст Аполлония высотой 2,75 фута, с головой, похожей на голову Зевса, с бородой и длинными волосами, ниспадающими на плечи и перехваченными лентой. Бюст, по-видимому, древний.

Однако мне не удалось найти его репродукцию. Висконти (Э. К.) в атласе «Греческая иконография» (Париж, 1808), том I, иллюстрация 17, оборотная сторона, стр. 68, приводит репродукцию конторниата, или медали с круглой рамкой, на одной стороне которой изображена голова Аполлония и латинская надпись APOLLONIVS TEANEVS. На ней также изображён наш философ с бородой и длинными волосами; голова увенчана короной, а верхняя часть тела покрыта туникой и плащом философа. Однако медаль очень низкого качества, а портрет совсем не радует глаз. Висконти в своем печатном издании посвящает гневный и презрительный абзац Аполлонию, "се тропу великого самозванца", как он называет его, основываясь на Де Тиллемоне.] но помимо этого у нас нет очень определенного описания его личности. Он всегда был мягким и кротким (I 36; II 22) и скромным (IV 31; VIII 15), и в этом, по словам Дамиса, он был больше похож на индийца, чем на грека (III 36); однако иногда он возмущался из-за каких-то особых злодеяний (IV 30). Его настроение часто было задумчивым (i 34), и когда он молчал, то надолго погружался в глубокие раздумья, во время которых его взгляд был устремлён в землю (i 10 и др.).

Хотя, как мы уже видели, он был непреклонно строг к самому себе, он всегда был готов оправдать других. С одной стороны, он хвалил мужество тех немногих, кто остался с ним в Риме, а с другой — отказывался обвинять в трусости тех, кто бежал (IV, 38). Его мягкость проявлялась не только в том, что он не обвинял, но и в том, что он всегда был готов проявить сострадание (см. VI, 39).

Одной из его маленьких причуд было то, что он любил, когда к нему обращались «Тианский» (vii 38), но почему он так делал, нам не сказано. Вряд ли Аполлоний особенно гордился местом своего рождения, потому что, хотя он и был большим любителем Греции, так что временами его можно было назвать восторженным патриотом, его любовь к другим странам была не менее выраженной. Аполлоний был гражданином мира, если когда-либо существовал такой человек, в чью речь не входило слово «родина», и жрецом всеобщей религии, в чьем словаре не было слова «секта».

Несмотря на свою крайне аскетичную жизнь, он был человеком крепкого телосложения, так что, как нам говорят, даже когда он достиг зрелого возраста в сорок лет, он был крепок и здоров во всех членах и органах, прямостояч и прекрасно сложен. В нём также было некое неопределённое очарование, которое делало его более привлекательным, чем даже свежесть юности, и это несмотря на то, что его лицо было испещрено морщинами, как у статуй в храме Тианы, изображавших его во времена Филострата. На самом деле, говорит его биограф-ритор, в старости Аполлонию воздавали больше похвал, чем Алкивиаду в юности (viii 29).

Короче говоря, наш философ, по-видимому, обладал очень обаятельной внешностью и приятным характером; его абсолютная преданность философии не была идеальной для отшельника, поскольку он жил среди людей. Неудивительно, что он привлёк к себе множество последователей и учеников! Было бы интересно, если бы Филострат рассказал нам больше об этих «аполлонианах», как их называли (VIII, 21), и о том, были ли они отдельной школой, объединялись ли в сообщества по пифагорейскому образцу или просто были независимыми учениками, привлечёнными самой выдающейся личностью того времени в области философии. Однако несомненно, что многие из них носили ту же одежду, что и он, и следовали его образу жизни (IV, 39). Также неоднократно упоминается, что Аполлоний сопровождал их в своих путешествиях (IV 47; V 21; VIII 19, 21, 24), иногда их было до десяти человек одновременно, но никому из них не разрешалось обращаться к другим, пока они не исполняли обет молчания (V 43).

Самыми выдающимися из его последователей были Мусоний, которого считали величайшим философом того времени после Тимея и который стал особой жертвой тирании Нерона (IV 44; V 19; VII 16), и Деметрий, «который любил Аполлония» (IV 25, 42; V 19; VI 31; VII 10; VIII 10).

Эти имена хорошо известны истории; среди других неизвестных имен - египтянин Диоскорид, которого оставили из-за слабого здоровья во время долгого путешествия в Эфиопию (iv 11, 38; v 43), Менипп, которого он освободил от одержимости (iv 25, 38; v 43), Федим (iv 11) и Нил, которые присоединились к нему из гимнософистов (v 10 кв., 28), и, конечно, Дамис, который заставляет нас думать, что он всегда был с ним со времени их встречи в Нине.

В целом мы склонны считать, что Аполлоний не создавал никакой новой организации; он использовал уже существующие, а его учениками были те, кого привлекала к нему непреодолимая привязанность, которую можно было удовлетворить, только постоянно находясь рядом с ним. Несомненно, одно: он никого не обучал тому, как выполнять его задачу; он приходил и уходил, помогая и просвещая, но не передавал никаких традиций и не основал школу, которую продолжили бы его преемники. Даже своему неизменно верному спутнику, прощаясь с ним в последний раз, как он знал, на земле, он не сказал ни слова о работе, которой посвятил свою жизнь, но которую Дамис никогда не понимал. Его последние слова были обращены только к Дамису, к человеку, который любил его, но никогда не знал. Это было обещание прийти к нему, если ему понадобится помощь. «Дамис, всякий раз, когда ты будешь размышлять о высоких материях в уединении, ты увидишь меня» (VIII, 28).

Далее мы обратимся к рассмотрению некоторых изречений, приписываемых Аполлонию, и речей, вложенных в его уста Филостратом. Более короткие изречения, по всей вероятности, являются подлинными, но речи по большей части явно представляют собой художественную обработку черновиков Дамиса. На самом деле, они определённо являются таковыми, но от этого не становятся менее интересными по двум причинам.

Во-первых, они честно признаются в своей природе и не претендуют на вдохновение; это, безусловно, человеческие документы, которые пытаются придать литературную форму традиционному набору идей и стремлений, которые жизнь философа вложила в умы его слушателей. Этот метод был распространён в древности, и составители некоторых других известных серий документов были бы поражены, если бы увидели, как потомки возведут их труды в ранг божественных и будут считать, что они были вдохновлены источником всей мудрости.

Во-вторых, хотя мы и не должны предполагать, что читаем подлинные слова Аполлония, мы, тем не менее, осознаём, что находимся в непосредственном контакте с внутренней атмосферой лучших религиозных мыслей греческого народа, и перед нашими глазами предстаёт картина мистического и духовного брожения, охватившего все слои общества в первом веке нашей эры.

Из Его высказываний и проповедей

АПОЛЛОНИЙ верил в молитву, но совсем не так, как простые люди. Для него мысль о том, что Богов можно склонить с пути строгой справедливости мольбами людей, была кощунственной; что Боги могут быть соучастниками наших эгоистичных надежд и страхов, было немыслимо для нашего философа. Он знал только одно: Боги были служителями справедливости и неумолимыми вершителями возмездия. Обычное представление, сохранившееся до наших дней, о том, что Бога можно отвлечь от Его замысла, что с Ним или с Его служителями можно заключить договор, было совершенно отвратительно Аполлонию.

Существа, с которыми можно было заключить такие договоры, которых можно было отвлечь и переубедить, были не богами, а чем-то меньшим, чем люди. И вот мы видим, как Аполлоний в юности беседует с одним из жрецов Эскулапа:

«Поскольку Боги знают всё, я думаю, что тот, кто входит в храм с чистой совестью, должен молиться так: «Дайте мне, Боги, то, что мне причитается!» (I II).

И вот снова, во время своего долгого путешествия в Индию, он молился в Вавилоне: «Боже Солнца, пошли меня по земле так далеко, как это будет угодно Тебе и мне; и пусть я познаю добро и никогда не познаю зло, и пусть они не познают меня» (I, 31).

Дамис рассказывает нам, что одна из его самых распространённых молитв звучала так: «Даруйте мне, Боги, чтобы у меня было мало и ни в чём не было нужды» (I, 34).

«Когда тыходишь в храмы, о чём ты молишься?» — спросил понтифик Максим Телезин у нашего философа. «Я молюсь, — ответил Аполлоний, — чтобы воцарилась справедливость, законы оставались нерушимыми, мудрые были бедными, а другие — богатыми, но честно» (IV, 40).

Вера философа в великий идеал, согласно которому у человека не должно быть ничего, но при этом он должен обладать всем, иллюстрируется его ответом офицеру, который спросил его, как он осмелился войти во владения Вавилона без разрешения. «Вся земля», — сказал Аполлоний, — принадлежит мне, и мне дано путешествовать по ней» (I, 21).

Аполлонию неоднократно предлагали деньги за его услуги, но он неизменно отказывался; не только он, но и его последователи тоже отказывались от всех подарков. Однажды, когда царь Вардан с истинно восточной щедростью предложил им дары, они отвернулись, после чего Аполлоний сказал: «Видите, мои руки, хоть и много их, все похожи друг на друга». И когда царь спросил Аполлония, какой подарок он привезёт ему из Индии, наш философ ответил: «Подарок, который порадует вас, государь. Ибо если моё пребывание там сделает меня мудрее, я вернусь к вам лучше, чем был» (i 41).

Говорят, что, когда они пересекали великие горы на пути в Индию, между Аполлонием и Дамисом состоялся разговор, который представляет для нас хороший пример того, как наш философ использовал повседневные события, чтобы преподать высшие жизненные уроки. Вопрос касался «того, что внизу», и «того, что наверху». Вчера, сказал Дамис, мы были внизу, в долине; сегодня мы наверху, высоко в горах, недалеко от небес. — Так вот что ты подразумеваешь под «ниже» и «выше», — мягко сказал Аполлоний. — Ну конечно, — нетерпеливо возразил Дамис, — если я в здравом уме, то к чему такие бесполезные вопросы?

И разве ты приобрёл больше знаний о божественной природе, находясь ближе к небесам на вершинах гор? — продолжил его учитель. Ты думаешь, что те, кто наблюдает за небесами с горных вершин, ближе к пониманию вещей? По правде говоря, — несколько удручённо ответил Дамис, — я думал, что спущусь с горы более мудрым, ведь я поднялся выше, чем кто-либо из них, но, боюсь, я знаю не больше, чем до того, как поднялся на неё.

Как и другие люди, ответил Аполлоний; “такие наблюдения заставляют их видеть небеса более голубыми, звезды более крупными, а солнце восходит из ночи - вещи, известные тем, кто пасет овец и коз; но как Бог заботится о роде человеческом, и как Он находит удовольствие в их служении, и что такое добродетель, праведность и здравый смысл, этого ни Атос не откроет тем, кто взбирается на его вершину, ни Олимп, который вызывает удивление поэта, если только их не постигнет душа; ибо если душа, будучи чистой и беспримесной, стремится к таким высотам, то это не значит, что она не может достичь их”. Клянусь тебе, она улетает далеко-далеко за пределы этого величественного Кавказа" (ii 6).

Итак, когда в Фермопилах его последователи спорили о том, какая гора в Греции самая высокая, в поле их зрения была гора Ота. Они оказались как раз у подножия холма, на котором спартанцы пали, пронзённые стрелами. Поднявшись на вершину, Аполлоний воскликнул: «И я думаю, что это самая высокая точка, потому что те, кто пал здесь ради свободы, сделали её такой же высокой, как Ота, и возвысили её над тысячей Олимпов» (IV, 23).

Вот ещё один пример того, как Аполлоний использовал случайные события во благо. Однажды в Эфесе, прогуливаясь по одной из крытых дорожек неподалёку от города, он говорил о том, что нужно делиться своим имуществом с другими и что мы должны помогать друг другу.

Случилось так, что неподалёку на дереве в полной тишине сидело несколько воробьёв. Внезапно подлетел ещё один воробей и зачирикал, как будто хотел что-то сказать остальным. После этого маленький воробей тоже зачирикал и улетел вслед за своим товарищем. Суеверные слушатели Аполлония были поражены таким поведением воробьёв и решили, что это предзнаменование чего-то важного. Но философ продолжил свою проповедь. Воробей, сказал он, пригласил своих друзей на пир.

Мальчик поскользнулся на тропинке неподалёку и рассыпал кукурузу, которую нёс в миске; он собрал большую часть зёрен и ушёл. Маленький воробей, налетев на рассыпанные зёрна, тут же улетел, чтобы пригласить своих друзей на пир.

После этого большая часть толпы бросилась бежать, чтобы проверить, правда ли это, а когда они вернулись с криками и в полном изумлении, философ продолжил: «Вы видите, как воробьи заботятся друг о друге и как они счастливы делиться своим добром. И всё же мы, люди, не одобряем этого; более того, если мы видим, что человек делится своим имуществом с другими людьми, мы называем это расточительством, экстравагантностью и другими подобными словами, а тех, кому он отдаёт свою долю, — подхалимами и паразитами. Что же нам остаётся, кроме как запереться дома, как откармливающимся птицам, и набивать свои животы в темноте, пока мы не лопнем от жира?» (IV, 3).

В другой раз, находясь в Смирне, Аполлоний, увидев, как корабль готовится к отплытию, воспользовался случаем, чтобы преподать людям урок сотрудничества. «Посмотрите на команду корабля! — сказал он. — Вот одни спускают шлюпки, другие поднимают якоря и закрепляют их, третьи расправляют паруса, чтобы поймать ветер, а четвёртые снова смотрят вперёд и назад. Но если хоть один человек не выполнит ни одного из этих своих обязанностей или ошибётся в морском деле, их плавание будет неудачным, и они попадут в шторм.

Но если они будут соперничать друг с другом, и их единственная цель будет заключаться в том, чтобы ни один из них не оказался хуже своих товарищей, то для такого корабля будут открыты все гавани, и на него будет дуть попутный ветер» (IV, 9).

В другой раз, на Родосе, Дамис спросил его, считает ли он что-нибудь более великим, чем знаменитый Колосс. «Да, — ответил Аполлоний, — человек, который идёт по бесхитростным путям мудрости, дающим нам здоровье» (ст. 21).

Также известно несколько случаев, когда наш философ давал остроумные или саркастичные ответы, и действительно, несмотря на его обычно серьёзное настроение, он нередко подшучивал над своими слушателями, а иногда, если можно так выразиться, высмеивал их глупость (см. особенно IV 30).

Эта черта характера проявляется даже в моменты большой опасности. Хорошим примером является его ответ на опасный вопрос Тигеллина: «Что ты думаешь о Нероне?» «Я думаю о нём лучше, чем ты, — возразил Аполлоний, — потому что ты считаешь, что он должен петь, а я считаю, что он должен молчать» (IV, 44).

Итак, его упрёк молодому Крезу того времени столь же остроумен, сколь и мудр. «Молодой господин», — сказал он, — мне кажется, что не вы владеете своим домом, а ваш дом владеет вами» (ст. 22).

В том же стиле написан его ответ обжоре, который хвастался своим обжорством. Он сказал, что подражал Геркулесу, который был знаменит не только своими подвигами, но и тем, что ел.

— Да, — сказал Аполлоний, — потому что он был Геркулесом. Но ты, что за добродетель в тебе, куча навоза? Единственное, что заслуживает внимания, — это то, что ты можешь лопнуть» (IV, 23).

Но перейдём к более серьёзным случаям. Говорят, что в ответ на искреннюю молитву Веспасиана «Научи меня, что должен делать хороший царь» Аполлоний ответил примерно так:

«Ты спрашиваешь меня о том, чему нельзя научить. Ибо царствование — величайшая вещь, до которой может дотянуться смертный; ему не учат. И всё же я скажу тебе, что если ты будешь делать, то будешь делать хорошо. Не считай, что богатство, которое накапливается, — чем оно лучше беспорядочно наваленного песка? И не считай, что оно приходит от людей, стонущих под тяжестью налогов, — ибо золото, добытое слезами, низко и черно. Вы будете использовать богатство лучше любого короля, если удовлетворите потребности нуждающихся и обеспечите сохранность имущества тех, у кого его много. Бойтесь власти, позволяющей делать всё, что вам заблагорассудится, и вы будете использовать её с большей осмотрительностью. Не обрывай колосья, которые выделяются среди остальных, и не поднимай им головы - ибо Аристотель не прав в этом [см. Chassang, op. cit., стр. 458, критику этого утверждения.] — а скорее выпалывай их недовольство, как плевелы из кукурузы, и показывай себе страх перед зачинщиками раздора не в "Я наказываю тебя", а в 'я так и сделаю'. Подчинись закону, о принц, ибо ты будешь издавать законы с большей мудростью, если сам не будешь презирать закон. Выказывай богам больше почтения, чем когда-либо; велики дары, которые ты получил от них, и велики твои молитвы. [Это было до того, как Веспасиан стал императором.] В том, что касается государства, поступай как царь; в том, что касается тебя, поступай как частное лицо» (ст. 36).

И так далее в том же духе, сплошные хорошие советы и глубокое знание человеческих душ. И если мы предположим, что это всего лишь риторическое упражнение Филострата, не основанное на сути того, что говорил Аполлоний, то мы должны быть лучшего мнения об этом риторе, чем позволяют остальные его сочинения.

Существует чрезвычайно интересный сократический диалог между Феспионом, настоятелем общины гимнософистов, и Аполлонием о сравнительных достоинствах греческого и египетского способов изображения богов. Он примерно таков:

«— Что же», — сказал Феспид, — мы должны думать, что Фидий и Пракситель поднялись на небеса и запечатлели образы богов, чтобы создать их изображения, или же их вдохновило что-то другое?

«— Да, кое-что ещё», — сказал Аполлоний, — кое-что, наполненное мудростью.

— Что это было? Вы же не можете сказать, что это была не имитация?

«Их создало воображение — творец, гораздо более мудрый, чем подражание, ибо подражание создаёт только то, что уже видел, в то время как воображение создаёт то, чего никогда не видел, представляя это в связи с тем, чем оно является на самом деле».

Воображение, говорит Аполлоний, — один из самых могущественных даров, ибо оно позволяет нам приблизиться к реальности. Принято считать, что греческая скульптура была лишь прославлением физической красоты, что само по себе было бездуховным.

Это была идеализация форм и черт, конечностей и мышц, пустое прославление физического, которому, разумеется, ничто не соответствовало в природе вещей. Но Аполлоний заявил, что это приближает нас к истине, как до него заявляли Пифагор и Платон, и как учат все мудрецы. Он имел в виду это буквально, а не расплывчато и фантастически. Он утверждал, что типы и идеи вещей — это единственная реальность.

Он имел в виду, что между несовершенством земли и высшим божественным типом всех вещей есть ступени возрастающего совершенства. Он имел в виду, что в каждом человеке есть форма совершенства, хотя, конечно, не абсолютная. Что ангел в человеке, его деймон, был подобен Богу, являясь совокупностью всех лучших качеств, которые он когда-либо проявлял в своих многочисленных жизнях на земле. Боги тоже принадлежали к миру типов, моделей, совершенств, небесному миру. Греческим скульпторам удалось установить контакт с этим миром, и для этого они использовали воображение.

Такая идеализация формы была достойным способом изображения богов; но, как говорит Аполлоний, если вы помещаете в свои храмы ястреба, сову или собаку, чтобы они изображали Гермеса, Афину или Аполлона, вы возвышаете животных, но лишаете богов величия.

На это Фестес отвечает, что египтяне не осмеливаются придавать богам какую-либо определённую форму; они дают им лишь символы, которым приписывают мистическое значение.

Да, отвечает Аполлоний, но опасность заключается в том, что простые люди поклоняются этим символам и получают искажённое представление о богах. Лучше всего вообще не иметь изображений. Потому что разум верующего может сформировать и создать для себя образ объекта своего поклонения лучше, чем любое искусство.

— Именно так, — возразил Феспид, а затем озорно добавил: — Кстати, был один старый афинянин — не дурак — по имени Сократ, который клялся собакой и гусем, как будто они были богами.

Да, ответил Аполлоний, он не был глупцом. Он поклялся ими не потому, что они были богами, а для того, чтобы не клясться богами (IV, 19).

Это забавный отрывок, в котором египтянин спорит с греком, но все подобные аргументы следует отнести к риторическим упражнениям Филострата, а не Аполлония, который учил как «имеющий власть», как «с треножника». Аполлоний, жрец универсальной религии, мог бы указать на хорошие и плохие стороны как греческого, так и египетского религиозного искусства и, безусловно, учил более высокому способу поклонения без символов, но он не стал бы защищать один популярный культ против другого. В приведённой выше речи заметно явное предубеждение против Египта и прославление Греции, и это очень заметно в нескольких других речах. Филострат был защитником Греции от всех нападков, но Аполлоний, как нам кажется, был мудрее своего биографа.

Несмотря на искусственную литературную форму, которую Аполлоний придавал своим длинным речам, они содержат много благородных мыслей, как мы можем видеть из следующих цитат из бесед нашего философа с его другом Деметрием, который пытался отговорить его от поездки в Рим к Домициану.

Закон, сказал Аполлоний, обязывает нас умереть за свободу, а природа предписывает нам умереть за наших родителей, друзей или детей. Все люди связаны этими обязанностями. Но на мудреца возложена более высокая обязанность: он должен умереть за свои принципы и истину, которую он ценит выше жизни.

Не закон возлагает на него этот выбор, не природа; это сила и мужество его собственной души. Хотя огонь или меч угрожают ему, они не сломят его решимость и не заставят его солгать даже в мелочах. Но он будет хранить тайны чужих жизней и всё, что доверено его чести, так же бережно, как и тайны посвящения.

И я знаю больше, чем другие люди, потому что я знаю, что из всего, что я знаю, я знаю что-то для добра, что-то для мудрецов, что-то для себя, что-то для богов, но ничего для тиранов.

И снова я думаю, что мудрый человек ничего не делает в одиночку или сам по себе; ни одна его мысль не является настолько сокровенной, чтобы он не был её свидетелем. И независимо от того, принадлежит ли знаменитая фраза «познай самого себя» Аполлону или какому-то мудрецу, который научился познавать самого себя и провозгласил это благом для всех, я думаю, что мудрый человек, который познал самого себя и имеет своего собственного духа в качестве постоянного товарища, сражающегося на его стороне, не будет ни пресмыкаться перед тем, чего боятся простолюдины, ни осмеливаться делать то, что большинство людей делают без малейшего стыда (vii 15).

В вышесказанном мы видим истинное философское презрение к смерти, а также спокойное осознание посвящённого, утешителя и советника других людей, которым были доверены тайны их жизни, что никакие пытки не смогут заставить его раскрыть рот. Здесь мы также имеем полное представление о том, что такое сознание, о невозможности скрыть малейший след зла во внутреннем мире, а также о ослепительном сиянии высшей этики, которая делает привычное поведение толпы удивительным — «то, что они делают, — не со стыдом».

Из Его Писем

АПОЛЛОНИЙ, по-видимому, написал много писем императорам, королям, философам, сообществам и государствам, хотя он ни в коем случае не был "объемным корреспондентом"; на самом деле, стиль его коротких заметок чрезвычайно лаконичен, и они были составлены, как говорит Филострат, "на манер лакедемонянской сказки" [Это был посох, или дубинка, используемая в качестве шифра для написания депеш. «Вокруг него была намотана полоска кожи, на которой вдоль длины были написаны донесения, так что, когда их разворачивали, они были неразборчивыми; у командиров за границей был посох такой же толщины, вокруг которого они сворачивали свои бумаги и таким образом могли читать донесения».

Лексикон Лидделла и Скотта, статья «scytale».) Отсюда слово «scytale» стало означать в целом спартанское донесение, которое отличалось лаконичностью и краткостью.] (iv 27 и vii 35).

Очевидно, что Филострат имел доступ к письмам, приписываемым Аполлонию, поскольку он цитирует некоторые из них [см. i 7, 15, 24, 32; iii 51; iv 5, 22, 26, 27, 46; v 2, 10, 39, 40, 41; vi 18, 27, 29, 31, 33; viii 7, 20, 27, 28.], и, кажется, нет причин сомневаться в их подлинности. Откуда он их взял, нам неизвестно, если только это не была коллекция, собранная Адрианом в Антиуме (viii 20).

Чтобы читатель мог составить представление о стиле Аполлония, мы приводим одно или два образца этих писем, или, скорее, заметок, поскольку они слишком короткие, чтобы заслуживать названия посланий.

Вот одно из них, адресованное магистратам Спарты:

“Аполлоний эфорам, приветствую!

«Мужчины могут не совершать ошибок, но благородные мужчины должны признавать, что они их совершили».

Аполлоний излагает всё это в два раза меньшим количеством слов на греческом. Здесь снова происходит обмен мнениями между двумя величайшими философами того времени, которые оба были заключены в тюрьму и постоянно рисковали жизнью.

«Аполлоний приветствует Мусония, философа!

«Я хочу прийти к вам, разделить с вами речь и кров, быть вам полезным. Если вы всё ещё верите, что Геркулес когда-то спас Тесея из царства Аида, напишите, что бы вы сделали. Прощайте!»

«Мусоний Аполлонию, философу, приветствие! «За твои добрые помыслы тебе воздастся добром; что уготовано мне, так это ожидание суда и доказательство своей невиновности. Прощай»

“Аполлоний Мусониусу, приветствую!

«Сократ отказался, чтобы друзья вытащили его из тюрьмы, и предстал перед судьями. Его приговорили к смерти. Прощайте».

«Мусоний приветствует Аполлония, философа!

«Сократ был казнён за то, что не подготовился к своей защите. Я сделаю это. Прощайте!»

Однако Мусоний, стоик, был отправлен Нероном на каторгу.

Вот письмо к кинику Деметрию, ещё одному из самых преданных друзей нашего философа.

«Аполлоний, философ, приветствует Деметрия, Пса [то есть киника]!

«Я отдаю тебя Титу, императору, чтобы ты научил его царствовать, а ты, в свою очередь, дай мне возможность говорить ему правду; и будь для него всем, кроме гнева. Прощай!»

В дополнение к примечаниям, приведённым в тексте Филострата, существует сборник из девяноста пяти писем, в основном кратких заметок, текст которых напечатан в большинстве изданий. [Шассан (там же, стр. 395 и далее) приводит их французский перевод.]

Почти все критики считают, что они не являются подлинными, но Джоуэтт [статья. «Аполлоний», «Словарь классической биографии» Смита] и другие полагают, что некоторые из них вполне могут быть подлинными.

Вот образец или два образца этих писем. В письме к Евфрату, своему заклятому врагу, то есть защитнику чистой рационалистической этики против науки о священных вещах, он говорит:

17. «Персы называют тех, кто обладает божественной способностью (или подобен богам), магами. Таким образом, маг — это тот, кто служит богам или обладает божественной способностью по своей природе. Вы не маг, но отвергаете богов (то есть являетесь атеистом)».

Опять же, в письме, адресованном Критону, мы читаем:

23. «Пифагор говорил, что самым божественным искусством является искусство врачевания. И если искусство врачевания является самым божественным, оно должно заниматься как душой, так и телом, ибо ни одно существо не может быть здоровым, пока его высшая часть больна».

В письме к жрецам Дельфийского храма, направленном против практики кровавых жертвоприношений, он говорит:

27. «Гераклит был мудрецом, но даже он [то есть философ, живший 600 лет назад] никогда не советовал жителям Эфеса смывать грязь грязью». [То есть искупать кровавую вину кровавым жертвоприношением.]

И снова тем, кто называл себя его последователями, тем, «кто считает себя мудрыми», он пишет в упрёк:

43. «Если кто-то скажет, что он мой ученик, то пусть добавит, что он не ходит в бани, не убивает ничего живого, не ест мяса, свободен от зависти, злобы, ненависти, клеветы и враждебных чувств, и что его имя записано среди тех, кто обрёл свободу».

Среди этих писем есть одно довольно длинное, адресованное Валерию, вероятно, П. Валерию Азиатику, консулу в 70 году нашей эры. Это мудрое письмо с философским утешением, которое поможет Валерию пережить потерю сына. Оно гласит следующее: [Шенье (А. Э.) в своей книге «Пифагор и пифагорейская философия» (Париж, 1873, 2-е изд., 1874) приводит это как подлинный пример философии Аполлония.]

«Никого не существует, кроме как в видимости, так же, как и не существует рождения, кроме как в видимости. Переход от бытия к становлению кажется рождением, а переход от становления к бытию кажется смертью, но на самом деле никто никогда не рождается, и никто никогда не умирает. Это просто видимое, а затем невидимое бытие; первое — из-за плотности материи, а второе — из-за тонкости бытия, которое всегда одинаково, и единственное, что его меняет, — это движение и покой». Ибо бытие обладает той необходимой особенностью, что его изменение не вызывается ничем внешним по отношению к нему; но целое становится частями, а части становятся целым в единстве всего. И если спросить: «Что это такое, что иногда видно, а иногда нет, то в одном, то в другом?» — можно было бы ответить: «Так устроено всё здесь, в этом мире, что, когда оно наполнено материей, оно видимо из-за сопротивления своей плотности, но невидимо из-за своей тонкости, когда оно освобождается от материи, хотя материя всё ещё окружает его и проходит сквозь него в том необъятном пространстве, которое вмещает его, но не знает ни рождения, ни смерти».

«Но почему это ложное представление [о рождении и смерти] так долго оставалось без опровержения? Некоторые думают, что то, что произошло с ними, они вызвали сами. Они не знают, что человек рождается от родителей, а не родители от него, подобно тому, как вещь, произведённая землёй, не производится из неё. Изменение, которое происходит с человеком, вызвано не его видимым окружением, а скорее изменением того, что есть в каждом человеке.

«И какое ещё имя мы можем дать ему, кроме как изначальное бытие? Только оно действует и страдает, становясь всем во всём, вечным божеством, лишённым и оскорблённым собственными именами, и формами. Но это менее серьёзная вещь, чем оплакивание человека, когда он перешёл от человека к Богу путём изменения состояния, а не уничтожения своей природы. Дело в том, что вместо того, чтобы оплакивать смерть, вы должны почитать и уважать её. Лучший и самый подходящий для вас способ почтить память умершего — это оставить того, кто ушёл к Богу, и заняться делами, чтобы править теми, кто остался на вашем попечении, как вы привыкли это делать. Для такого человека, как вы, было бы позором, если бы вы излечились благодаря времени, а не разуму, потому что время заставляет даже простых людей забыть о горе. Самое важное — это сильное правление, и из величайших правителей тот лучше всех, кто сначала может управлять собой. И как можно желать изменить то, что свершилось по воле Божьей? Если в мире есть закон, а он есть, и Бог установил его, то праведный человек не будет пытаться изменить что-то к лучшему, потому что такое желание — это эгоизм, противоречащий закону. Он будет думать, что всё, что происходит, — к лучшему. Итак, исцели себя, воздай справедливость несчастным и утешь их; так ты осушишь свои слёзы. Вы не должны ставить свои личные горести выше общественных забот, но, напротив, ставить общественные заботы выше личных горестей. И посмотрите, какое утешение у вас уже есть! Народ скорбит вместе с вами по вашему сыну. Верните долг тем, кто плачет вместе с вами; и вы сделаете это быстрее, если перестанете плакать, чем если будете продолжать.

Разве у вас нет друзей? Ну что вы! У вас есть ещё один сын. Разве у вас нет даже того, кто ушёл? У вас есть! — ответит любой, кто по-настоящему мыслит. Ибо «то, что есть», не перестаёт быть — *pauiš* — просто потому, что оно будет существовать вечно; или же «то, чего нет», есть, а как это может быть, если «то, что есть», никогда не перестаёт быть?

«Снова скажут, что ты не благочестив перед Богом и несправедлив. Это правда. Ты не благочестив перед Богом, ты несправедлив по отношению к своему мальчику; более того, ты не благочестив и по отношению к нему. Хочешь знать, что такое смерть? Тогда сделай меня мёртвым и отправь меня в компанию со смертью, и, если ты не изменишь одежду, которую на меня надел, [это его представление о смерти], ты сразу же сделаешь меня лучше себя». [Текст последнего предложения очень неясен].

Трактаты

А.

«Мистические обряды» или «О жертвоприношениях». [Полное название приводится у Евдокии, Ионии; изд. Вийон (Venet 1781), стр. 57] Этот трактат упоминается Филостратом (III 41; IV 19), который говорит нам, что в нём изложен правильный способ жертвоприношения каждому богу, правильные часы для молитвы и жертвоприношений. Она была широко распространена, и Филострат находил её копии во многих храмах и городах, а также в библиотеках философов.

Сохранилось несколько её фрагментов, [см. Целль, Phil d Griech, v 127], самый важный из которых можно найти у Евсевия, [Præparat. Евангелие, IV, 12-13; изд. Диндорфа (Лейпциг, 1867), I, 176, 177] и гласит следующее: «Лучше вообще не приносить жертв Богу, не разжигать огонь, не называть Его никакими именами, которые люди используют для обозначения чувственных вещей. Ибо Бог превыше всего, Он первый, и только после Него идут другие боги». Ибо Он не нуждается ни в чём даже от Богов, не говоря уже о нас, простых людях, — ни в чём, что даёт земля, ни в какой-либо жизни, которую она питает, ни даже в чём-либо, что содержится в чистом воздухе. Единственная достойная жертва Богу — это разум человека, а не слово [игра слов, в которой s??? означает и «разум», и «слово»], которое выходит из его уст.

«Мы, люди, должны обращаться к лучшим из существ через лучшее, что есть в нас, ради добра — то есть с помощью разума, ибо разуму не нужны материальные вещи, чтобы возносить молитвы. Итак, Богу, могущественному, который превыше всего, не должно приноситься никаких жертв».

Ноак [Psyche, I ii.5.] сообщает нам, что учёные убеждены в подлинности этого фрагмента.

Эта книга, как мы видели, широко распространялась и пользовалась высочайшим уважением, и в ней говорится, что её правила были выгравированы на бронзовых колоннах в Византии. [Ноак, там же]

В.

б. «Оракулы» или «О гадании», 4 книги. Филострат (III, 41), по-видимому, считает, что полное название было «Гадание по звёздам», и говорит, что оно было основано на том, что Аполлоний узнал в Индии; но гадание, о котором писал Аполлоний, было не обычной астрологией, а чем-то, что Филострат считает превосходящим обычное человеческое искусство в таких вопросах. Однако он никогда не слышал, чтобы у кого-то была копия этого редкого труда.

С.

с. Жизнь Пифагора. Порфирий ссылается на эту работу, 8 [См. Ноак, Porphr. Vit. Pythag., стр. 15] и Ямвлих цитирует длинный отрывок из него. [Ред. Амстелод., 1707, сс 254-264]

Д.

d. «Завещание Аполлония», на которое уже ссылались при обсуждении источников Филострата (i 3). Оно было написано на ионическом диалекте и содержало краткое изложение его доктрин.

Ему также приписывается Гимн памяти, и Евдокия говорит о многих других (? а? а??ар???а) произведениях.

Теперь мы предоставили читателю всю имеющуюся информацию о нашем философе. Был ли Аполлоний, таким образом, мошенником, обманщиком, шарлатаном, фанатиком, заблуждающимся энтузиастом или философом, реформатором, сознательным работником, истинным посвящённым, одним из величайших людей на Земле?

Каждый должен решить это для себя, в соответствии со своими знаниями или невежеством.

Я, со своей стороны, благословляю его память и с радостью учился бы у него, если бы он был жив.